

БРИГИТТЕ ШВАЙГЕР

[148]

ил 1/2020



Фюрер, прикажи!

Монолог для одной актрисы

Перевод ЕКАТЕРИНЫ НАРУСТРАНГ

В лагере я расцвела.
Строем под знаменем, это было так торжественно.
Мне это очень нравилось.
Мы пели тогда прекрасные песни.
Дикая гуси, шелестя в ночи крыльями, тянутся к северу
с дикими криками.
Сердце мое. Смирно. Смирно. Враг. Или как-то там.
А на рассвете:
Утреннее солнце улыбается моей стране.

Когда поют все, это пробирает тебя насквозь.
И я почувствовала: я делаю все это ради фюрера.

Уже в первую ночь была воздушная тревога, такая жуткая,
что я подумала: сейчас с нами будет покончено.
Темень, хоть глаз выколи. Ведь должно было быть полное
затемнение.

Мы жили в каком-то замке.
Множество комнат, много переходов.

И вой. Сирены.

Я сказала себе: уж фюрер войну выиграет.

Венки тосковали по дому. Многие не хотели там быть.
А мне нравилось. Ведь я пришла по своей воле.
Берлинки занудствовали, всегда что-то было не по ним.

Немецкие мужчины. Немецкие женщины.
В этом есть что-то надежное. И одновременно что-то
простое.

Это придает тебе некую гордость. И чувство собственного
достоинства.
Вдруг ты уже что-то значишь. И радуешься своей к этому
принадлежности.
И ты значишь столько же, сколько мужчина. Потому что
если ты даришь
миру много детей,
то получаешь за заслуги крест.

Мне довелось пережить так много прекрасного!
Это ощущение всеобщего единства!
Потому-то я и была за фюрера!
Ничего плохого со мной не случилось!
Тогда не случилось!

Когда война была позади, я однажды сказала какому-то
еврею

кое-что про Гитлера.
А он спросил меня: простите, как? Что вы сказали? Вы
могли бы это повторить?

Тогда я сказала это еще раз! Не моргнув глазом!
Потому что я подумала тогда: если клянешься кому-то
в верности,

потом нужно оставаться верным ему всю жизнь.
И я опять повторила ему, как я отношусь к фюреру.
Тогда он сказал, если я еще раз открою рот, он выжжет
свастику у меня в горле.

И тут же попытался меня изнасиловать.
А я подумала, сейчас со мной происходит то же, что
с Кристиной Зедербаум

в “Еврее Зюсе”.
Потому что ну не могла же я дать фюрера в обиду.
Только когда я увидела фотографии. В чешских газетах.
И в русских.
Правда, я решила, что их ведь можно подделать!

Конечно, я знала, что евреи не хотят выполнять никакую
работу.

И чтобы научиться этому, они попадают в лагерь.
И те, кто не за фюрера, тоже попадают в лагерь.
Только про этих я всегда думала, что они совсем тупые.
Ну ничего, теперь-то уж они чему-нибудь научатся.

Моя мачеха послала мне письмо, заказное.
Я должна немедленно вернуться. В Грац.
Но я себе сказала: Грац не увидит меня больше никогда.
Письма полны упреков.
Что они меня подобрали на крестьянском дворе в одной
рубашонке.

И что они для меня все делали.
Что я должна быть благодарна.
И кто знает, что бы со мной случилось, если бы она меня
меньше била.
Она была вынуждена держать меня в строгости, чтобы я
не скатилась

на скользкую дорожку.
Но я ей написала, что хочу стать начальницей,
что я сделаю все для этой карьеры и что она должна
выслать мне мои документы.
Как раз их-то я и забыла дома.
Все, что нужно для того, чтобы доказать мое арийское
происхождение.

Во время похода на Польшу по радио передавали песни.
Солдатские песни.
Тогда это меня так захватывало.
Вот еще одна победа, и вот еще одна:
он освободил Судеты.
И вот мы уже возвращаем себе Саарскую землю.
И меня от моей матери он освободил.
Ночью шли поезда.
Тогда я жила еще дома, я стояла у окна
и смотрела вдаль, на железнодорожные пути.
Мы жили тогда на Линден-аллее. А там, впереди, проходили
рельсы.

Любимого Господа Бога я ребенком представляла себе
всегда там.
У нас, на рельсах, в Линден-Аллее, где железная дорога вела
от Восточного вокзала к Южному.
Я видела бога ночью, когда была ребенком.

У него не было ног, тела тоже не было, только голова.
И борода у него свисала до самых рельс.

По ночам шли поезда.

Их было слышно всю ночь напролет, снова и снова:

длинные составы.

Днем я видела, что там внутри люди.

И они пели, словно ехали развлекаться.

Гордясь тем, что они солдаты.

Как мне сообщили, для “Трудовой повинности”¹ я,

пожалуй, уже слишком стара,

но на должность начальницы вполне еще могу

претендовать,

тут я и отправилась в путь со своим чемоданом.

Пара летних платьев и два тюка ткани. По десять метров

шифона.

Это принадлежало мне. По десять метров шифона в каждом

тюке.

Это было мое приданое.

К торжествам в Граце по случаю пятидесятилетия фюрера
они празднично украсили город.

Ратуша, замок Шлоссберг, башня с часами — все светилось

яркими огнями.

Так же, как на праздновании 800-летия Граца.

И тогда, в 1938-м, для меня это означало:

когда, маршируя, входят немцы, все приходит в порядок.

Кроме того, фюрер ведь был австрийцем.

И нас он тоже берет с собой.

Он нас не забыл.

Он заботится о том, чтобы и у нас, австрийцев, была

родина.

Восточная марка тоже станет чадом матушки Германии.

Осенью 1939-го мы отправились гулять,

моя мать и я, и тут увидели участок земли,

который продавался.

Она спросила крестьянина, сколько он хочет за эту землю.

Семьдесят пять грошей квадратный метр.

1. “Трудовая повинность” — нацистская организация, привлекавшая молодежь на срок до нескольких месяцев для выполнения физических работ.
(Здесь и далее — прим. перев.)

Это было бы совсем неплохо, сказала она, смотри, как
много фруктовых деревьев.
Она пересчитала деревья и поторговалась
с крестьянином, но

говорить об этом отцу было нельзя.
Знаешь, сказала она, я хотела бы иметь что-то для себя.
Что-то для себя сэкономить.
Тебе потом будет приятно это получить.

Осенью, когда у нее было время, мы ездили туда на
велосипедах
и намазывали клеем стволы деревьев, чтобы их не погрызли
вредители.
Мы раскопали землю вокруг деревьев, внесли в нее
удобрение

и тогда же был сделан забор.
Потом мы начали выкапывать подвал.
До самого начала ноября.
Тут однажды пошел дождь, и в этот день я уехала.

Я ведь, собственно говоря, хотела стать актрисой.
Мне очень нравились длинные платья и присборенные
рукава.

Я видела “Фиеско” и “Лоэнгрин”.
Понять я ничего не поняла в свои тринадцать лет.
Но мне понравилось.
По ночам я разыгрывала это в постели.
И выдумывала что-то свое.
Настоящие стихи. Не знаю, насколько хороши они были.
Но я помню, что на сцене всегда умирала.
Больше всего я любила играть женщину, которая погибает.
Тогда я падала на сцене на пол и рыдала навзрыд.
Все исключительно в постели.
О публике я, правда, мало задумывалась, скорее о том, что
таким образом я учусь говорить.

Потому что там, в школе, я была лучше всех и смелее всех.
Вот только говорить не умела.
Слово. Я как-то не умела пользоваться словом.
Вот если бы учительнице нужно было уйти
на конференцию, думала я,
и если бы мне тогда поручили присмотреть за моими
одноклассниками.
Вот тут-то бы уж я посмеялась. А они были противные.

Но я не умела, находясь на учительском месте, отчитывать
их так,
чтобы при этом всем не было смешно.

Над обеденным столом у нас дома висели часы.
С белым циферблатом, круглые, с черными цифрами.
Если часы били, а я приходила минутой позже,
чем следовало, я получала оплеуху.
Дети, они же знали, что мне нужно идти, мчаться домой,
как только уроки кончились. А они отняли у меня портфель.
И тогда мне пришлось бегать за своим портфелем.
Пеппи его спрятала, а когда он уже был опять у меня,
Фритци вырвала портфель у меня из рук и куда-то его
засунула.

А дома — мать: посмотри на часы.
Или если нас заставляли тихо сидеть и что-нибудь
списывать,
в качестве наказания.
Потому что мы все были плохие.
Часто наступал черед Роды Роды¹. Истории Роды Роды
мы должны
были переписывать в качестве наказания.

Многие девушки тогда уехали.
В Англию, в Венгрию, нянями.
После средней школы.
В Англии они стали гувернантками и научились
говорить по-английски.
В Венгрии они растолстели и порозовели.
Ведь тогда время было тяжелое. Не у каждого было
что поесть.
Однажды повесили какого-то рабочего лидера.
Тогда моя мачеха очень плакала.
Она стояла около радиоприемника и все надеялась, что
они ему ничего не сделают.
Но они присудили его к смертной казни.
В Испании в то время шла гражданская война.
Или я не помню когда. Я уже путаю, что когда было.
Во всяком случае, по радио передали, что испанские
женщины
отдали свои венчальные кольца, золотые, на переплавку.
Чтобы на это золото можно было купить оружие.

1. Рода Рода — австрийский детский писатель.

Когда мать меня била, я глотала в школе булавки
и стержни от чернильных карандашей.
Потому что это было опасно. Я думала, так можно заболеть,
так можно попасть в больницу, а больница была для меня
светом в окне.

Я просто лежала там однажды со скарлатиной,
и все медсестры были ко мне очень добры,
потому что я помогала им ухаживать за другими детьми,
как только сама смогла немножко встать.
Я не могла вынести, чтобы кто-нибудь был добр ко мне.
Я сама хотела быть доброй.

Освенцим! О страшное слово!
Грехи других — это не мои грехи!
Первый выстрел мне в живот!
Второй выстрел мне в спину!
Третий: рубец через всю голову.

Газовые камеры.
Сопrotивление.
Вступление. Освобождение. Капитуляция. Окончательная
победа. Крах.

Я хотела обрить себе голову.
И работать.
Я сделаю все, чтобы меня не считали виновной.
Я не боюсь смерти.
И вы можете убить меня за то, что я была наци (нацисткой).
Только смеяться, смеяться надо мной вы не смеете.
Это было самое счастливое время в моей жизни.
Единственно счастливым в моей жизни было время,
когда я работала в “Трудовой повинности”.

По грамматике в народной школе я была лучшей.
У меня была тяга к языку.
Моя первая книга, да, это были стихи:
Ах, вот сломалась ветка, и я сижу в траве,
И стыдно, и обидно, и больно было мне.

И про Бедного зайчишку.

Меня интересовала история, и немецкий.
Мы читали Петера Розеггера и слушали тоже про него
по истории.
Андерль-Нулевка, это был ребенок, над которым все
смеялись,

у него был дефект речи и его никто не принимал всерьез,
этого Андерля. Потому что он не умел красиво говорить.
Потом однажды он совершил нечто такое, что всем
бросилось в глаза.

И глупым он не был.

Они просто изображали его глупцом, из-за речи.

Он не умел красиво говорить.

Но потом все увидели, что он кое-что собой представлял.

Я любила выполнять дополнительные задания.

С удовольствием рисовала страны.

Рисуя страны, я всегда все приукрашивала —
море, горы и границы.

Когда я вернулась домой из школы, я сказала:

мама, целую ручку.

В дополнение мне полагалось сделать книксен.

Она показала на часы и спросила, на сколько делений
передвинулась стрелка.

На четыре, сказала я.

На пять, говорит она.

Подожди, пока я встану от швейной машинки, тогда я тебя
отлуплю.

Потом я готовила суп и мясо.

И все время прислушивалась, не встает ли она уже.

Часто бывало так: мы обедали, и она опять садилась
за швейную машинку.

Тогда я знала, что мне нужно еще вымыть посуду.

И вытереть.

И потом, в пять часов, мне так хотелось, чтобы она сделала
это раньше

и для меня все было бы позади.

Но иногда она била меня только в пять,

а “Фрау Луну”

соседи в нашем доме вырезали однажды из газеты.

Это была женщина, которая прядями вырывала волосы
у своего ребенка

и палила их кочергой.

Она заставляла ребенка класть руки на плиту.

Мне следовало бы то же самое делать с тобой, сказала мать,
когда прочла об этом процессе в газете.

А наши соседи по дому

вырезали имя Луна

и прикрепили нам на входную дверь под табличкой с нашей
фамилией.

Рано утром, была зима и еще совсем темно, я шла в школу, открыла дверь, увидела “Фрау Луну” и тотчас же сорвала. Я боялась, что мать может подумать, будто это сделала я.

В доме, в котором было мое первое, еще ученическое, рабочее место, жила еврейка со своей дочерью.

Матильда, сходи за газетой.

Матильда, принеси расческу.

Матильда, пойдти к бакалейщику.

Каждый раз она посылала ее специально за чем-то одним,
а Матильде

было уже сорок восемь лет, и во рту у нее не осталось
ни одного зуба.

Старуха, седовласая, восседала, как королева.

С балкона я заглядывала вниз, к ним в комнату, и видела, как Матильда причесывает мать.

Матильда, пойдти туда, иди сюда.

Потом, после войны, их уже не было.

В “Трудовой повинности” все было так правильно.

Утреннее солнце улыбается моей стране, пели мы ранним
утром.

Утреннее солнце улыбается моей стране.

Земли зеленеют здесь в глубоком молчании.

Каждая тень кажется нам родной и близкой.

Каждый огонек кажется нам совсем своим.

Страна моя, страна моя, как глубоки мои корни в тебе.

Каждое дыхание моих губ...

Сейчас и здесь...

Дикие гуси шелестят в ночи крыльями...

Спящая страна, смирно, смирно.

Мир полон убийств.

Да, следует быть осторожным.

Мир полон убийств.

Вы такие же, как и мы, серая масса...

Ну да, я гордилась тем, что фюрер родился в Австрии.

Мы хотели слово “рабочий” сделать почетным званием для
каждого немца!

Поэтому каждый молодой немец должен был какую-то часть
своей жизни служить

своему народу простым физическим трудом!

Вопреки реакционному мышлению следует со всей
решительностью подчеркнуть:

служить своему народу можно не только оружием,
но и рабочим инструментом.

Любая бескорыстная служба есть служение своему народу.

Нам знакома сословная честь лишь как честь любого
сословия!

Она возникает вместе с образцовым служением долгу своего
сословия.

Личное уважение, выпадающее каждому в отдельности,
зависит не от того, что ты
делаешь, а от того, как ты выполняешь свой долг.

Наш символ — два колоска в правом углу со свастикой.

Работа и досуг в лагере.

Одежда землисто-бурого цвета.

Просто и едино.

Василькового цвета платье, простенький передничек и
красный платок на голове.

Служба не должна быть принудительной обязанностью.
Правильное

поведение на службе достигается лишь тогда,
когда мы сами хотим того, что от нас требуют.

Когда мы внутренне готовы и настроены выполнять
приказы.

Лишь тогда, когда мы в состоянии преодолеть наши
собственные

желания и склонности, наши настроения, нашу тягу
к покою

и готовы следовать приказу, мы — истинно свободные люди.

Антракт

Фюрер, прикажи, я последую за тобой.

Благословен, кому дозволено видеть тебя.

У тебя совершенно особенные глаза, и много слов сказано
о твоих глазах.

Глаза, каких нет ни у одного человека.

Начальница иногда спрашивает на занятиях:

Кто может позволить себе совершить нечто такое, что
непостижимо обычному уму
и даже кому-то может показаться неверным?

Гений, отвечаю я.

Спасибо. Садись.

Нигде меня не хвалили так много, как в “Трудовой
повинности”.

И нигде потом меня так не любили начальники, как там.

[158]

илл 1/2020

Тень. Облако.

Когда людей арестовывают.

Тень, которая падает на кого-то одного.

Потому что во мне всегда все мрачнеет, когда преступников
заключают в тюрьму.

Но евреям дадут землю, которую они должны будут
перепахать и засеять,
и тогда им придется собирать урожай и оставаться среди
своих.

Таков будет закон.

Фюрер не ест мяса.

Он ходит всегда в военной форме.

Она у него не лучше, чем у других.

Он останавливается в скромных отелях и требует только
овощей.

Нет равных ему по силе, и никто, кроме него, не сделал бы
того,
что единственно верно.

Геббельс произносит много речей, но фюрер говорит
с нами,
и ему приходится создавать оборонительный фронт вокруг
нас,

потому что англичане не хотят, чтобы мы были едины.

Они хотят нас снова сделать маленькими, слабыми и
раздробленными.

Когда говорит фюрер, все в душе ликует.

Он был из простой семьи.

Он понимает, что такое нужда.

Он рисовал прекрасные картины и не нашел признания.

Он был бездомным и безработным.

Он знает, что это такое.

Его речей я жду, сгорая от нетерпения.

До тех пор пока я слышу твой голос, мой фюрер, я — под
твоей защитой. Такого, как
ты, не будет больше никогда.

Я живу в великое время и благодарю Бога за это.

“Матери без подвенечной фаты” — прекрасная книга.

Женщину-мать общество не изгоняет, а почитает.

Повсюду встречаешь женщин, гордо несущих свой живот.

Голос фюрера обладает силой убеждения.
Он не вызывает никаких тревожных предчувствий.
Мой почерк становится все лучше, все свободнее.
Часто я просто не могу писать так быстро, как думаю.
Что мне только не приходит в голову, когда я пишу моим
знакомым из Граца,
которые теперь воюют на фронте солдатами.
Этот Боглич из семьи торговца велосипедами.
Или Гудич с Джакоминиплац.
И еще многие другие, кто относился ко мне с уважением.
А я была влюблена в патера Готтфрида.
Для учителя Закона Божьего и священника он был слишком
красив.
Я его очень уважала и хотела, чтобы в один прекрасный
день меня вместе с ним
похоронили.
Но он не понял моей любви.
Однажды я упала в церкви.
В обморок.
Я лишь притворялась, но они отнесли меня в ризницу,
и патер Готтфрид поил меня теплым молоком.
Я думала, он должен меня поцеловать, раз я лежу у него
в ризнице.
Однако он даже не погладил меня по руке.
Но я и с ним тоже с некоторых пор переписываюсь.
Он обещал, что поможет мне получить нужные бумаги.
Доказывающие мое арийское происхождение, они мне
нужны, чтобы стать
начальницей.
А мой почерк становится все свободнее, все быстрее.
И мысли так и выстреливают из меня.
Солдат, будь стойким. Спасай себя. Спасай нас и Германию.
Сегодня, когда нас слушает Германия. А завтра весь мир.
Уже год, дорогой брат Готтфрид, я являюсь старостой
нашей группы.
И буду дальше учиться.
Каждый вечер я читаю вслух “Майн кампф”.
Потому что у меня самый красивый голос.
И я — самая белокурая из всех. С самыми голубыми глазами.
И потому что я — самая смелая.
Может быть, еще и потому, что я — из Австрии.
Им нравится мой диалект.
Они с удовольствием слушают мое произношение.
Иногда они смеются, когда я что-нибудь скажу.
Дорогой брат, мечта стать начальницей не оставляет меня.

Ночью мне разрешается гулять одной до песчаного холма,
на котором растут сосны,
в получасе ходьбы от лагеря, и я поднимаюсь на этот холм,
в полнолуние.

Тогда я слушаю лягушек, как они квакают.

Лающие собаки.

А я брожу под сенью сосен.

Это право мне предоставила моя начальница, потому что
в день ее
рождения я украсила первоцветом стол в столовой.

В меня влюбился один ээсовец.

Я просто не могу в это поверить. СС — это же элита, которая
стоит ближе всего к фюреру.

А он в меня влюбился, и мне нужно лишь подтверждение
моего арийского

происхождения. Тогда он меня возьмет.

Но это все так долго тянется, с документами.

Потому что они еще не разыскали моего отца и мою мать.

Я же всего лишь приемный ребенок.

А мачеха продолжает писать, что я должна вернуться.

Но я больше не вскрываю письма сама.

Я передаю их моей начальнице, она говорит, что пригласит
меня в Берлин.

Я могу жить в доме ее матери.

Там все ко мне будут хорошо относиться.

Они — настоящие национал-социалисты.

И они дадут мне кров на те пять недель,

в течение которых я должна находиться в распоряжении

Главной рейхскомиссии по делам кровного родства.

Будут проверять мое происхождение.

Будут обмерять мою голову.

И пальцы.

Это — всего лишь формальность.

Фюреру нужна чистая кровь.

Я увидела тогда Берлин.

И Потсдам.

Все было так прекрасно.

Однажды я ездилa верхом, сидела на лошади сзади, руками
обхватывая сына фрау Файерабенд.

Потом он погиб в танке.

Сгорел в своем танке заживо.

Но прежде мы пережили с ним несколько прекрасных дней.

А в Главной рейхскомиссии по делам кровного родства меня
приняли холодно.
Маленький человек, который там сидел, был
немногословен.
Мои шаги гулко раздавались в тишине, когда я шла через
зал.
А потом, в ноябре сорок второго, я получила официальный
ответ.

Примесь еврейской крови второй степени.

Я подала заявление о приеме в школу медсестер.
Чтобы мне можно было служить в лазарете, где
тяжелораненные.
Там я познакомилась с одним человеком, который обо мне
побеспокоился.
Другими словами, я забеременела. Однако одна семья у отца
моего ребенка уже
была.

А я не хотела доставлять ему лишних сложностей.

О, как бы я хотела подняться однажды на гору Оберзальц,
И когда Гитлер пойдет гулять со своей собакой, потому что
он ходит гулять и потому
что ведь нужно же ему когда-то отдохнуть от напряжения,
тогда я сначала спряталась бы за кустами,
а потом вышла бы оттуда и сказала: мой фюрер.
Я – такая-то и такая-то. И я родом из Граца, города, где
произошло народное
восстание.

И я готова умереть за Германию, если Германия не может
найти мне применения.

Но мой жених привез меня в Судеты.

Он не сказал своим родителям, что ребенок не от него.

Они приняли меня как дочь.

И о примеси еврейской крови мы им тоже ничего не
сказали.

Мой жених попросту уничтожил все бумаги.

И я устроилась в Комотау на работу в Красный Крест.

Он вообще был очень молчаливый человек.

Он любил щипать траву, грызть травинки.

Мне было трудно ложиться на спину, я была еще беременна.

Я просила прощения, что мне приходится расстегивать
пуговицу на юбке.

А он гладил меня, как гладят сестренку.

Все благоухало.

Заросли осоки, длинные, желтые стебли с хохолками
на концах.

Он не говорил мне, что любит меня.

Таких слов он не говорил.

Его мать даже жаловалась, что он ни о чем не
разговаривает.

Что он только сидит и учится.

Что он обо всем размышляет. О войне.

Я думаю, война его очень занимала.

Потом он уже не мог больше оставаться в Дахау,
где у него было хорошее место.

И попросился на Восточный фронт.

Потому что он хотел бороться за фюрера.

Во всяком случае, они послали его на Восточный фронт, и
там он погиб.

От пули в живот.

Говорят, он сказал: ах, какой позор!

Мне это передали.

А мой ребенок уже в десять месяцев здоровался словами
“Хайль Гитлер!”

Когда я отправлялась с ним за покупками, он поднимал руку.

Потом стали говорить, скоро придут американцы.

Я думала про себя: что это такое?

Фюрер говорил намеками.

Он выступит с каким-то оружием.

С каким-то типом ракет.

Фау-бомба.

Нам нельзя признаваться, что она у нас есть.

Мы используем ее уничтожающую силу в последний момент.

Если мы действительно будем проигрывать войну.

Но если Германия использует эту бомбу, тогда все будет
спасено.

Моя гражданская свекровь пела мне вслух:

свободный вечер, свободный вечер,

дневные заботы уже позади.

И вот мы, радуясь, сидим все вместе

и Богу воздаем хвалу за этот час.

Свободный вечер, свободный вечер...

Еще прежде, чем объявили, что фюрер мертв,
уже была полная неразбериха.
Я должна была работать в Красном Кресте.
Доставлять в больницу стариков.
И раненых тоже. Пострадавших от бомбардировок.
Все были перепуганы.
Никто не отвечал, если его о чем-то спрашивали.
И вот однажды я иду домой с работы, а нужно было идти
полчаса пешком,
по дороге слева и справа полные дождевой воды воронки,
следы бомбардировки восемнадцатого апреля, в день моего
рождения,
а небо такое глубокое, как будто вот-вот снова пойдет дождь,
и все вокруг такое глубокое, и я думаю:
Господи, настроение сегодня какое-то такое печальное.
А потом прихожу домой, и по радио уже передали,
что фюрер погиб.

И тут я опять почувствовала свое одиночество.
От одного мгновения до другого.
Тогда все было иначе.
И никто не говорил: война закончена.
Этого мы так и так всегда ждали.
Но фюрер мертв. А война продолжается.

Двое русских пришли к моему тестю.
Они спросили, есть ли у него часы.
Они еще были на кухне, но я спряталась в шкаф.
Потом один русский вошел в комнату.
Он увидел ребенка.
Где мама? Где мама?
Мамы нет, сказал мой свекор, упал на колени
и стал молиться.
Где мама, где мама.

Потом мне пришлось работать в чешской больнице.
Ухаживать за белорусами. Нервнобольными и младенцами.
Каждую ночь русские приходили проверять.
У меня были ночные дежурства.

О воздушной тревоге я больше рассказывать не хочу.
И как они сбрасывали зажигательные бомбы.
Осветительные ракеты, как они летали в ночи.
И как мы вывозили тяжелораненых.

Все это было слишком ужасно.
Но это ведь на любой войне одинаково.

[164]

илл 1/2020

Вечером еще было тихо.

Я убаюкиваю ребенка, напевая ему, как обычно,
а он все не засыпает и не засыпает.

Потом я уже сама настолько устала, что заснула.

Вдруг вой сирены.

Это происходило довольно часто, и всегда после сирены
сразу же был отбой.

Значит, они летели не над нами, а заворачивали в сторону.

Сирена выла: хууу, хууу.

Как будто начался пожар.

А отбой: тюхьюхью, тюхьюхью.

Короткие, высокие звуки.

Тогда всем было понятно, что можно выйти из подвала.

И вот опять вой сирены, а я очень устала; и я сказала себе:
сейчас будет отбой.

Я не пойду сегодня в подвал.

Я думала, если это с нами должно случиться, пусть это
случится дома.

И не стала будить ребенка.

Вдруг гляжу: на улице все озарилось красным цветом.

Тут приходит свекровь. Начали падать осветительные
ракеты.

Осветительные ракеты, это были лучи света, которые они
разбрасывали вокруг.

Чтобы осветить те места, куда должны упасть бомбы.

В ночи.

Осветительные ракеты, поскольку дул ветер, оказались над
деревней.

И над домами.

Ветром их отогнало от вокзала.

А те-то не знали, что это — не вокзал, американцы.

Осветительные ракеты зависли вместо вокзала над нашими
домами.

И они прилетели оттуда, эскадрильи.

Самолеты.

Американские эскадрильи.

И пошло: трррр, тррррр.

В воздухе гроыхало, и ты думал, одна уже пролетела, если
становилось тише.

Но невозможно было знать тогда, прилетит ли еще одна,
и еще, и еще.

Я выпрыгнула из кровати, завернула ребенка, и тут
объявляют:

на улицу больше выходить нельзя.

Когда все так ярко освещено, убежать нельзя. Тут-то они
тебя и заметят.

И я осталась стоять в дверном проеме.

Потому что я знала: когда падают бомбы и дома рушатся,
часто остаются целыми лишь дверные проемы.

Осветительные ракеты, шарики света, они падают вниз
и сигналият тогда, как маяки, эти осветительные ракеты,
когда они, горя, падают вниз целым снопом огней, ярко
освещая всю деревню.

На одном конце деревни у нас была оружейная фабрика, на
другом – вокзал.

Бомбы разрываются, светясь, как сигнальные ракеты, над
поездами Красного Креста.

Мы вытаскивали раненых. Сначала все слилось в одном
общем крике.

Мы бежали вдоль домов, уже охваченных пламенем.

В каком-то сарае визжали свиньи.

Людей вытаскивали из-под обломков. Они еще были живы.

Моей обязанностью было постоянно держать наготове
шприц, если

у кого-то будут сильные боли. С морфием.

Все потеряли голову. Невозможно было собраться
с мыслями.

Одна бомба в здание вокзала уже попала, зала ожидания
больше не было,

все было разрушено, уничтожено другими налетами.

Ведь были же налеты, нацеленные на фабрики, а около
путей сидели

люди с забинтованными головами,
раненые, получившие первую помощь.

Они там ждали.

Дрожащие.

Искалеченные.

Россией.

Портрет Гитлера, он еще долго был у меня.

Я его хранила.

Очень серьезный портрет.

Многие уничтожили портреты Гитлера сразу.
Но я свой сберегла.
Ночью я клала его себе на грудь.
Лицом вверх.

Потом пришли чехи и всех арестовали.
Мне они ничего не сделали, потому что я была из Австрии.
И потому что я...
Ну я тогда устроилась работать на фабрику.
А когда судетских немцев выслали, я уехала в Австрию.
В русскую зону я не хотела.
Я хотела домой, в Грац.
И мне многие там помогали.
Исключительно бывшие наци, которые знали, что никогда
я не совершала ничего такого,
что можно было бы поставить мне в вину.

Я расцвела в лагере.
Строим под знаменем, это было так торжественно.
Мне это очень нравилось.
Мы пели тогда прекрасные песни.
Дикие гуси, шелестя в ночи крыльями, тянутся к северу
с дикими криками.
Сердце мое. Смирно. Смирно. Враг. Или как-то там.
А на рассвете:
утреннее солнце улыбается моей стране.

Когда поют все, это пробирает тебя насквозь.
И я почувствовала: я делаю все это — ради себя.

Занавес